# ВОШЬ И КАРА

ВОЙТ СОЛОМА

# ВОШЬ И КАРА

СБОРНИК РАССКАЗОВ

# Лошадь

Ему всегда будет интересно, что чувствует лошадь, когда на неё садится толстый человек. Что она чувствует, когда его жир свисает с седла, как карманы. И спросить у самой лошади про её ощущения не выйдет, думает он. Получается ситуация, из которой нет выхода, или выход есть, но он не подходит в данный момент. Лошадь ела что-то из огромного куска цистерны и ржала, застряв зубами в колоске. Он подходит к ней и говорит что-то на лошадином языке, издавая звуки. Лошадь подзлилась, она подпрыгнула и мощными ногами откинула его тело в сторону как плюшевого зайца. Его грудь пробита и пищит кровавой мистерией.

# Письмо неизвестному доктору

«...клинические выводы я записал. Впрочем, хотел бы увидеться с вами. Моё состояние стабильно плохое. Запишите это где-то у себя, сделайте заметочку. Встретимся не с пустыми руками.

*Подпись:* —».

# Лилалон

У меня длинные чёрные волосы на корейский лад, мои ногти красные, но тусклые, мои ноги бритые, глаза большие и искренние. Я ношу жёлтый бюстгальтер и такого же цвета панталоны. Под моей губой — маленькая индийская родинка. Пальцы худые и продолговатые, кожа влажная, смуглая. Меня зовут Лилалон.

# Благословение в каземате

Этот разговор произошёл в каземате.

— Недолго нам осталось, — прошептал худощавый старик, держа сиреневый платочек между ладонями.

— Мы — варнаки с тобою, — ответил ему недавно прибывший ссыльный.

Ссыльный был одет не по погоде: шапка, натянутая на бритую голову, оставляла клочочки ушей немного дышащими; впрочем, если выглянуть за пределы каземата — что они, конечно, сделать не могли — то можно было бы увидеть прекрасный солнечный день.

Белоснежная роба у ссыльного складками лежала на земле, словно платье на несколько размеров больше. Ссыльный молчал. У него в глазах — смятение, смешанное с ожиданием чего-то революционного.

— Авось и получится, — буркнул в густые усы старик, — никто ж не знает, что в голове у них. Выпустят нас, варнаков, выпустят!

Ссыльный ощерился:

— Сколько таких, непосильных, на свободе нашей ходят. Святую землю обезображивают мещанской подошвою. Смотрите на небо, щелкопёры! смотрите на небо, протирайте очки от крови, которою вы плачете после рабочего дня; ибо слёз у вас нет.

Старик поднял потную ладонь.

— Дьячок, а, дьячок? — бормотал он, сжимая платок.

Дьяк вышел из тени с огорчением, видно было, что его отвлекли от чего-то важного. Насупив брови, дьяк сказал:

— Вы не мои дети, я врать перед Богом не собираюсь. Но, если уж Бог послал нас в одно место, олицетворяя своё триединство в нас, рабах, давайте уступим всем законам тюремным, отведём наши души от огня искушения, — говорил он, и в бороде его что-то лазило.

Тишина.

Ссыльный встал первый. У него внутри, в груди, или где-то там, появилось мерзкое желание нести ересь.

— Смотри, дед, дьяк из тени вышел. Прятался там от нас? — морда ссыльного осклабилась и стала видною в темноте.

Дьяк скрестил руки на животе.

— Нет, не прятался, — ответил дьяк. — Мои побуждения не касаются вас и этого каземата. Видно было, что у вас нет ничего человеческого. Да, я прислужник Бога, Господа Нашего; Отца Вашего. Да, я получаю грош. И, пожалуйста, думайте, когда хотите что-то сказать. Бог над нами и слышит нас.

Старик резко встал, откинув платок в сторону: сиреневая ткань медленно уплыла на пол. Старик ткнул пальцем в плечо ссыльного:

— Он нас за дураков держит.

— Да, за дураков.

Дьяк сделал шаг назад:

— Я благословлю вас. Варнаками станете.

— Мы и есть варнаки! И без твоего благословения, чёрт крестоносный!

— Благословляю вас! — закричал дьяк своим хриплым, притупленным голосом. — Благослови вас Господь!

# Дьявол в деталях

Ясное небо лишь по моим словам. Прошу приглядеться — оно дождливое; как будто водоносца по окончанию истязания ножами заставили попить воды.

Края туч источают белое сияние, сливаясь с линиями серых струй дождя. Асфальт, двор, всё прочее и нужное для портрета… …и человек стоит, на небо смотрит, изогнувшись в одну, так скажем, погибель.

Думаете, он и вправду смотрит на небо? Нет, дорогие мои слушатели, он рвёт на себя.

# Мой сын

На зелёной траве ползали улитки. Мой сын подходил к ним и брал их с брезгливой осторожностью за панцирь. Каждый раз, делая так, он издавал бекающий звук. Потом он бросал со всей силы улитку об траву и, если видел, что улитка оставалась жива, прыгал на неё, топтал её своими крохотными ботиночками, показывая мне, что-ли, превосходство? И так много раз на день. Я очень люблю своего сына. Вот взять даже недавнюю нашу прогулку по лесу: мой сын бегал по сваленным деревьям, как медведь, и рычал на всех лесных обитателей, улыбаясь мне с деревьев, широко, повелительно опуская глаза на меня, находясь в тени; да, мне становилось не по себе, но я тут же вспоминал, что это — мой сын. И вот после прогулки он сползал с гнилых стволов и растянуто, как ленивец, касался ботиночками земли, потом спрыгивал полностью, отряхивался и бежал ко мне, радостный. Мать, то есть моя жена, говорила ему, что он немного не тот, за кого себя выдаёт. Мол, он «чеширский котик», он «урод в семье»; я не слушал оскорбления. Оскорбляя его, она, в первую очередь, оскорбляла меня, своего мужа. Я давал ей предупредительные пощёчины. Затем мы снова выходили на прогулку: вторую за день. (Мы просто не хотели оставаться с матерью в одном доме.) Мой сын дёрнул меня за шарф и сказал, что хочет подкрепиться какой-то едой, снова улыбаясь мне упоительно и весело. Я смотрел на него и молчал, как бы ослеплённый; так труп смотрит на солнце. Я замечал в его глазах ужасную осознанность происходящего. Так бы сказать, я видел в его детском взгляде — взгляд взрослого человека. Или, правильнее сказать, человеческий взгляд. Возможно, звучит не так, как должно, но так оно и есть! Я, понятное дело, тут же приходил в себя, выполнял просьбу моего сына и продолжал с ним прогулку. Прогулка происходила вот таким образом: мы заходили в случайный магазин еды и я насильственным образом доставал моему сыну что-то вкусное, будь то леденцы или конфеты. Мой сын очень любит есть крупы. Я имею в виду — сырые. Мать постоянно жаловалась на больные зубы моего сына, так как из-за того, что он ест твёрдые крупы, у него постоянно болят зубы. Он плакал каждую ночь. Помню, как сейчас: в тёмной комнате мать наклоняется и даёт ему, моему сыну, свою обвисшую грудь, прижимает его голову к себе, силой заставляя сосать молоко. Мне было жаль её соски. Я видел, что у неё проблемы с сосками и некая сыпь, сплошь покрывающая ареолы; словно кожура вялого, гнилого арбуза. Мой сын рассказывал мне о неприятном привкусе её молока, он смотрел на меня… Мать плакала, что её сын болен чем-то, я её успокаивал. Она дрожала, её грудь так же дрожала. Мы топили дом дровами, а электричество заменяли восковыми свечами, поэтому тогда её худая спина была освещена свечой. Я всегда говорил всем, и сыну говорил: что позвонки — это лицо зимы. Что зима морит

себя голодом ради красоты. Мой сын рано или поздно упивался молоком, он уходил подальше, в свою комнату (я выделил для моего сына гостиную.) Мы с матерью повесили на двери наволочки, закрыв обзор, занавесили окна и создали моему сыну уютную атмосферу. С матерью у нас была одна спальня. Любовью мы занимались исключительно тогда, когда моего сына не было дома, что, признаться, было очень редко. Большую часть времени мать трогала себя. Если рассказать, одним словом, почему сына иногда не было дома, то вот: мой сын самостоятелен. Он имеет небольшие зачатки садиста, поэтому я разрешаю ему выходить на наш двор и всяческими способами ублажать свои требования, так скажем. (Я улыбаюсь.) Понятно, что я строго за этим слежу. Мать перестала волноваться по этому поводу уже давно: привыкла. Я тоже перестал заострять на этом внимание. Я отец неглупый, понимаю, что у моего сына есть отклонения, посему пытаюсь помочь ему справиться с агрессией. Он убивает голубей и пьёт сырые яйца (я, кажется, уже упоминал о любви моего сына к сырому). Я послушно и молча убираю трупы голубей, когда мой сын получает нужную разрядку. В этот период, пока сын убивает голубей, я занимаюсь сексом со своей женой. Она, когда в истерике, всегда не забудет намекнуть мне на странность нашего секса; говорит, что я её насилую. Это глупость. Не знаю, зачем я вообще говорю о такой глупости, ибо секс у нас с нею взаимный, страстный. Я её не бью и никак не унижаю (если на то нет причины). Причина есть всегда, скажете вы. Я с вами буду согласен, но, из-за личных соображений о слабости женского пола, я её не бью. У меня тоже есть садистские наклонности. У кого ж их нет? Покажите мне этого человека. А у нас с сыном есть чёткий план: он вырастет и сдаст меня в дом престарелых, где, по его словам, он будет надо мной издеваться за причинённый в детстве вред. Я слушаю его и улыбаюсь: «чем бы дитя не тешилось». Я верю в его яркое будущее. Это мой сын.

# Метаморфоза монолога

Я общаюсь с собою каждый вечер. Когда гаснет свет в соседнем окне, я сажусь на колени и закрываю глаза. Мне приятно видеть темноту. И трижды проклятый. Смотрите на меня. Меня не знает ни волк, ни лиса. И окуните в горячую воду, в прорубь, в малиновый яд. Вот подходит матерь, трогает за плечо и кричит, улыбаясь. Что я дурак, мол, что её не уважаю ни капли. А у меня в голове монолог. Никакой матери, естественно, нет. Ещё чуть-чуть — и открою рот. Ещё чуть-чуть — и загорится свет.

— Когда монолог терпит метаморфозу в диалог — стоит прислушиваться.

# Ватару Цуруми

Красивая за окном ситуация: пикники соединялись покрывалами, квадратами, создавая гильдию, а над ними вязь тенистый. Всё зелено, всё ярко разукрашено весеннею кистью.

Из уважения, женщину стоит назвать девушкой. Девушка была в жёлтом, с чёрными крапинками, платье, находилась в середине тишины и, одновременно, внимания нескольких людей, которые читали. Люди расположились в основном на полу, сидели, раскрыв перед собою книги (хоть это место нельзя назвать библиотекой).

У каждого из них свой жанр, свои мысли по этому поводу. Кое-кто чаще смотрел в окно, чем в книгу. Кое-кто жалел, что пришёл сюда.

Девушка заметила лёгкое прикосновение некоего мужчины к своим бёдрам. Она искоса посмотрела на него, не сдвинулась. Мужчина вновь к ней притронулся, его холодные пальцы мысленно изображали на её коже круги отчаяния, которые могут произойти. У девушки началась паранойя: ей казалось, что мужчина неприлично двигается на месте, как бы взлетая вверх, а после конвульсивно опускаясь, так, что гремели памятные тарелочки на стенах. Другие люди этого не замечали, или, как оно бывает, не хотели этого замечать; тоже ощущая нелепый страх и пот, стекающий по спине вязко. Один мужчина заговорил со своей подругой о «Кошмарах аиста марабу», подруга затараторила о «Плоском мире».

Мужчина перестал существовать на очень короткий промежуток времени, являя собой настенное ружьё. Девушка вытерла нос рукавом, у неё поднялись давление и температура, опали сопли. Страшнейший озноб медленно обволок девушку — она отложила книгу в невероятном отрешении от этого мира. В её глазах застывала ртуть, мороз распадался на более мелкие частицы. Мужчина был без лица. Она не видела его лица. Мужчина схватил девушку за упитанную ляжку, и схватил так, как черепаха, выбрасывая свою шею, хватает половинчатую, плавающую мышь. Аналогия упрощается: мужчина сжал её ногу до покраснения и вскрика. Девушка попыталась встать, однако каблуки и облегающая юбка перекрестили ей ноги.

Люди закрыли свои книги. Они покинули здание.

Девушка лежала на полу, а рядом находилось первое издание книги Ватару Цуруми.

# Они были заодно

Вороны летали над кладбищем, воровали конфеты, клевали кресты — буянили. Да и сам чувствуешь себя подклёванным.

Малец, в одной только пижаме, сел у могилы на колени. Колени его покрылись грязью и зелёным мхом. Это была могила не его матери, а совсем чужой; ему не был знаком портрет.

Мать встала из могилы, совсем такая же, как при смерти: жёлтое тело, вместо рта, ноздрей и глаз — чёрные звуки. На левой щёчке осталась розовая складка от больничной жёсткой подушки. На предплечье дырявые колодцы, использовавшиеся когда-то для набора крови. В зубах, которыми она жевала, пломбы опечалены мышьяком.

Худой таз выпирает, просится наружу, а волосы несколько у неё слабые, хрупкие. Как птичий помёт, или как перхоть — глобусообразно лежит белая прослойка, под самыми волосами; точно со снятым скальпом, её лоб морщинист даже без удивления и злости.

Малец произнёс своим писклявым голосом:

— Ох, прости, чья-то мама. Я не могу видеть, у меня нет глаз.

Мать не двигалась.

— Я не хотел будить тебя, — продолжал малец, — но ты проснулась. Моя мама жива, она сидит дома, шьёт. Я часто спрашиваю, всё ли с ней в порядке. А ты, мама? Что же привело тебя сюда, на кладбище? Наверняка, сморила болезнь или убили из-за долгов, а твоего сына, как я понимаю, завербовали в условно сексуальное рабство. Когда ты можешь выбирать партнёра…

Мать покачала головой, ссутулилась.

— Тебе ли знать, что такое рабство? — сказала она. — Я умерла из-за тифа, и у меня не было сына. У меня была доченька. Она совсем уж взрослая, нашла мужа, кажется, планирует детей. Только вот имени её не помню, мальчик. Совсем забыла её внешность, голос…

— Конечно, конечно, она тоже не помнит тебя, — добавил малец.

— Как оно бывает? Забывают умерших. И умершие тоже грешны — забывают своих живых близких, друзей… кого ещё?

— Ложись, мама, ложись. Снись чаще своим детям, своим отпрыскам. Пусть радуются, пусть плачут. Главное, чтобы не забывали.

— У меня одна ведь дочь! — возразила матерь натужно.

— Нет, сынок у тебя есть. От первого мужа, в гражданском браке.

— Ты не хочешь, мальчик, сказать, что внутри меня есть окаменевший плод? Ведь меня вскрывали врачи, смотрели…

Малец встал, отряхнул красные пижамы. Что-то надвигалось на горизонте, и нужно было торопиться.

— Не знаю, где твой сын. Но он у тебя есть.

— Это… это замечательно. Но как я мёртвая передам своей дочери, что у неё есть брат?

Малец, тревожно смотря вдаль:
— Я передам.

# Второе свечение

Зоркий глаз в дупле глазеет, жёлтый свет янтарно рассеивает вдоль и поперёк верхушек сосен. Львы взлетают на гору, и с горы опадают… Гул раздался. Птицы вмиг разлетелись. Кто-то увидит в лесной чаще свет, удивится своей простоте… В том же дупле глаза угрожали испугать случайного охотника с лучком наперевес, с плечом хромым, со ртом немым, с улыбкой на устах. Вокруг розовой ротонды тонкой ленточкой повесят светящийся шарик судьбы, называя его не так, как привыкли другие.

Я рисовал на белёшеньком холстике холмик и солнышко с маской. Вдруг я опрокинул бутылочку с краской, залив всю картину — безобразно. Так и прозвал я картину снежной, так как трава в белом цвете, а солнце нежное.

Курицы бегали прытью стальной, по курятнику шастали бивнем морским, демоном ярости, демоном похоти, всё выдумывали поводы для новых затей. Злодеяний не счесть. Мир переполнен любовью. Лишь один человек, залезший на стул, включит свет, а потом упадёт.

# Исправительная колония

Каждый раз, проходя мимо исправительной колонии ночью, я вглядываюсь в лес. Этот лес — чёрный. Я никогда не прислушиваюсь к нему, но достоверно знаю, что его тишина уподобляется могильной. Тогда я замедляю шаг и не шевелю шеей, то есть смотрю только в одну сторону — на лес. Неизвестный источник света дарит веткам очертания. Появляется уверенность в том, что лес обитаем; он становится границей между гражданской жизнью и чем-то совершенно другим. И вот ноги совсем уж останавливаются на тропе. Тишина, как и следует ожидать. Не слышно костра, плача, шёпота или крика. Да будь чего! Ничего не слышно. Смотришь на этот лес своими белыми глазами (такие светящиеся, одушевлённые) — ничего не происходит. Разворачиваешься медленно, чтобы не спугнуть тревогу, и идёшь обратно, а перед глазами всё моменты жестоких убийств и пыток проплывают.

# Медсестра

Медсестра прерывала беседу и улыбалась, облизывая бескровные губки. В темноте коридора она стояла. Ростом ни маленькая, ни большая, выделяющаяся только ломтиком голубого света. Собеседница медсестры, женщина больная, ни старая, ни молодая, ростом маленькая, фигурой пухлая, смеялась всего лишь. Её пугала медсестра. Медсестра рассказывала об анализе мочи. Даже если присмотреться к стенам, то не увидишь стен, ибо темнота. Диалог происходит в темноте коридора. Женщина всё поняла для себя. Медсестра настаивала. Определённым скачком в голове появлялось желание покинуть стены этой больницы, убежать или уважительно выйти через чёрный вход. Женщина оглядывалась с улыбкой. Медсестра не отводила взгляд. Она, медсестра, чувствовала нестабильность в повествовании, рваный ритм, апатию. И тогда сказала:

— Золотые часы.

Женщина потрясла щеками, словно хомяк.

# Маленькие люди

Они досняли кино и, несмотря на признание, выудили из потаённого кармана удостоверение. Тогда мы все присели обратно на диван, с которого встали. Все мои девушки немного испугались. Маленькие люди вошли в комнату и нарушили механизм диапозитива ладонью. Пара девушек прикрыла голые груди полотенцами. Кто вскрикнул из них: важно ли это вообще? В тот момент мы не смотрели маленьким людям в глаза. Никто не хотел начинать идти куда-то, что-то говорить маленьким людям. Сидели все, мои девушки тоже, их возбуждение понемногу сохло.

Да, это было очень страшно. Маленькие люди хотели найти и украсть из нашей студии важную вещь. Я приказал девушкам одеться в отдельной каморке, а сам подошёл к маленькому человеку в чёрном костюме, который достал удостоверение. Мы разговорились. Его глаза моргали часто, словно разрезая воздух в области наших голов. Его сотрудники, такие же маленькие люди, стояли сзади, охраняли его. Никто не хотел обижать маленьких людей, никто не смотрел на их рост.

Одна моя девушка, обёрнутая в полотенце, вышла из каморки с опечаленным видом. Она присела, сравнявшись с маленьким человеком, и что-то говорила ему. Её лицо было очень красиво, в ней бурлила похоть. У неё милый голос. Она продолжала говорить маленькому человеку что-то на своём. Её жёлтые волосы мерцали в полутьме нашего кинотеатра. Полотенце сползало очень редко, но сползало; всегда замечал отточенным глазом движение поправления полотенца или бретельки лифчика. Я ведь не один год в этом деле.

Я отвернусь и грустно посмотрю за окно, и действительно, выйдет, что я посмотрю за окно, а не в окно. Никого не увижу, мы высоко над землёй. Только синий вечер. Будут гореть огни автомобилей, троллейбусы будут ездить подвешенные проволокой, их будут водить, ровно за шиворот. Люди как запертые будут ехать домой.

Как ни посмотрю… всегда вечер отдаёт синевой. А моментами закладывает уши, что и не понимаешь происходящее. Грузно становится. За моей спиной что-то ищут, рыскают. Мои девушки напуганы, их нагло вырвали из работы. Но мне, как главному по этому заведению, стоит быть сдержанным в эмоциях. Сколько возможностей решить конфликт: убить, выгнать, солгать. И сколько в голове пронесётся мыслей, что ты не сможешь убить, что ты не сможешь выгнать (сердце не позволит), что ты не сможешь солгать этим людям, причём маленьким.

Она встала и подошла ко мне, я заметил, что полотенце спало. Смотрел в её глаза, а в её глазах просьба прощения. Я смотрю за её спину и вижу маленького человека, который тщательно ощупывает полотенце. Его ничего не смущает, и я убеждаюсь, что эти люди… вовсе не люди. Их так прозвали: «маленькие люди». На самом деле,

человечного в них столько, сколько во мне материнского. Пусто. Я рос без матери сколько себя помню.

Я хлопну её по плечу, девушку, мою девушку с жёлтыми волосами, которая пыталась нам помочь, и она уйдёт, ковыляя прелыми ягодицами. Маленькие люди не обратят внимания на мой растерянный, мёртвый взгляд.

Три одетые девушки выйдут ко мне, сильно страшащиеся этих маленьких людей. Наши диваны начнут разбирать отвёртками и молотками.

Я обниму девушек. Непривычно, скажу честно, чувствовать вместо прохладной груди нечто хлопчатое. Это нормально для моей работы. Даже улыбка на лице, как вспомню оскорбления сокурсников. Сутенёром обзывали. Но не оказались правыми. Я ведь не получаю ни капельки. Моё удовольствие строится на животности, а их удовольствие, моих девушек, на вожделении. Мы соединяем это каждый синий вечер, если позволяет ситуация.

Трагично, когда не можешь удержать мысль на одном месте. Девушки прижмутся ко мне крепко, словно я их отец. Я обниму их так, как отец обнимает своих взрослых, статных дочерей. Я приласкаю их, что делаю и делал до прихода маленьких людей. В нашем бизнесе их принято называть бутафорными болтиками: кажется, что полка скреплена, покуда остаётся пустой.

Я приласкаю их, подчеркну второе слово. Мои пальцы просеют их волосы разного цвета, ладонь прижмёт мокрый затылок к перегару моего лица.

М?

Кому-то и покажется это мерзким, отрочески-отцовским, однако не моим девушкам. Мои девушки привыкли видеть меня, нюхать меня таким. Они выросли здесь. Их воспитали не родители. Скоро вы всё поймёте, если до того дойдут руки.

В голубом шорохе происходящего я люблю оставаться на минуту, может быть, другую. Голубой шорох это состояние сознания, когда ты намеренно лишаешь себя окружающих подробностей и зацикливаешься на чём-то одном, тонком, полупрозрачном, водяном… Все эти ассоциации… Из-за моей работы я вспоминаю только своих девушек, как после бани разгорячённые бёдра будут сбивать капли. Капля за каплей на мягкий кафель.

Это и есть голубой шорох. Почему он голубой?

Девушка прижмётся ко мне, обрадованная холоду, она захочет близости, не слиться со мной, а войти в меня. И я лишь улыбнусь на её позыв, прижму её ближе к себе, силой подогну колени на пару десятков сантиметров.

Почему он голубой: за окнами всегда синий вечер. Мы всегда находимся в кинематографической синеве, я, наши тела, мои девушки. Что мы видим днём? Ничего не видим, мы перекрываем собою дневной свет. Вокруг шорох, вокруг суетится пространство. Оно тоже синее из-за

вечера, из-за неба, но приобретает более спокойный оттенок. Посему голубой шорох. Голубой шорох это всё то, что меня окружает. Переплетение времён повествования... Я могу выйти из этого состояния.

Маленькие люди нашли несколько плёнок, не обозначенные трафареткой. Они промолчат, говорить нечего, но эту находку они запишут в свой блокнот. Подъедут помощники. Начнут перерывать студию от а до я.

Один из маленьких людей крутился на чёрной петле возле обуха настенных часов.

# Чемодан

Одним ранним утром у брата и сестры была прогулка. Брат был младше. Короткие тёмные волосы с хвостиком на затылке. Сестра была старше. Длинные коричневые. Любила носить браслеты, кольца, заколки.

Мать, строгая по нраву, не всегда отпускала ребят на прогулку. Бывало, что сестра подначивала брата шоколадкой, чтобы тот сбежал вместе с ней и ничего не рассказал маме впоследствии. Так и делали; до ночи задерживались, всегда находились вдвоём, не связывались с другими детьми. Могли долго резвиться на одном месте, заросшем, мрачном, старом.

Не раз бывало такое, что брата и сестру ловили за кражей кукурузы с соответственных полей; что фермеры приказывали сестре идти за родителями, а брата оставляли как бы в заложниках. И всегда им удавалось выйти сухими из воды.

Сестра приучала брата прятать в ботинок небольшой ножичек, кухонный: что-то где-то подрезать, да и на всякий случай. В мире бывает разное. Посему, когда брату удавалось незаметно ножичек достать — фермеры и столбенели. Кто — отпустит, кто — за ружьём побежит. Тут ребята уже и в кукурузные поля сбегали.

А как было приятно ходить босой ногой по раскалённому асфальту улиц, без вьетнамок, оголять одно плечо, а то и два, снимать свои хлопковые блузки и футболки, дышать телом.

Сестра говаривала:

«Никогда не употребляй ничего. Пожалеешь, ты предашь наш уговор».

Брат говаривал:

«Клянусь мамой, я не предам».

Потом перекус под деревом. Сестра, бывало, достанет из рюкзака книгу, откроет и расслабится на какое-то время, а брат отойдёт на метра два — три, в траву, и начнёт ловить кузнечиков. Кто знает, отпускает ли он их? А брату весело, лыбится. Во все свои кариозные зубы, коричневые, не все…

Возвратится брат, станет на колени или приляжет, поспит, накроет голову панамкой. Увидит краем глаза «Убить пересмешника», надумает себе что-то, да не вдумается. Это не в его стиле — вдумываться.

Так пройдёт какой-нибудь час. Сестра с хлопком закроет книгу, посмотрит в пустоту, размыслит о прочитанном; взглянет на брата, снимет панамку с его лица, и брат сощурится от закатного солнца. Она не улыбнётся: что-то задело её при прочтении.

Сестра говаривала:

«Забуду, скоро всё забуду».

И забывала.

Брат встанет, потянется, зевнёт во весь рот, раскинет руки куда ни

попадя. Посмотрит на сестру: а её коричневые волосы по краям сияют от солнца. Она грустна, она мрачна, она смотрит не на брата, а лишь забавляется собственным унынием. Брат ведь, понятное дело, думает совсем по-другому.

Соберутся домой; сестра закинет рюкзак на плечо, слегка сгорбится и медленно пойдёт по протоптанному следу полей. Брат за ней: вымазанный соломой, травой, землёй.

Мать будет ругать, да забудет.

Сестра говаривала:

«Забудут все. Что бы я ни сделала, всё забудут».

Утро за утром. Холодные ночи стучались в окна уплотнёнными костями. Никто никому не открывал.

На следующий крик петухов сестра стояла одетая, пробиралась в комнату брата.

Сестра говаривала:

«Пойдём под домами погуляем».

Брат кивал, сонно одевался. Уже обуваясь, прятал ножичек.

Вышли. На улице никак: тучи спрятали солнце на левой части неба, а правая как-то непропорционально блестела голубым, белыми облаками. Тучи надвигались влево.

Сестра говаривала брату, что стоит поспешить, дабы не попасть под дождь. Брат улыбался, он любил дождь. Но спешили оба.

Когда добежали, сестра убрала фанерный лист и залезла внутрь, в их небольшой шалаш, обустроенный как здесь, так и снаружи.

Брат послушно ждал своей очереди, как тут заметил в бурьяне нечто такое, что обычно не видел: коричневый квадрат. Он подбежал к нему и стал очищать от сухой травы, от веток ореха; это, несомненно, был чопорный чемодан. Чёрная окантовка у ручек, болтики, серебристые полосы, видно, дорого металла… Тут брат округлил свои глаза. Позвал сестру, которая уже налаживала освещение в шалаше. На интригу брата — быстро вылезла.

Сестра говаривала:

«Чемодан ручной работы. Ни одной царапинки».

Брат полез открывать его — сестра плеснула по рукам. Говаривала:

«Это может быть всё что угодно! Как оружие, так и наркотики; как бомба, так и инструменты».

Брат пугался.

Просидели они над ним несколько минут. В дальнейшем — сестра упрятала его в шалаше, накрыла тряпьём. Брат перекрыл вход фанерой.

Их никто не видел, сестра убедилась в этом, после убедился и брат.

Они ушли.

***

Как можно было понять по внутренней мягкотелости ребят, они вернулись этим же днём в свой глупый шалаш. Сестра с присущим нимфоманке возбуждением била по швам чемодана ручкой молотка,

взятого с дома, а брат аккуратно нанизывал защёлки на свою дистопию. Они провели за вскрытием почти всю ночь: наутро, если они вернутся, будет очень страшная кара. Ягодицы будут болеть и будут красными. Ребята не увидят улицы целый месяц.

У них, впрочем, не получилось его открыть. Когда сестра трясла чемодан, внутри ничего не двигалось, хотя и имело плотный вес. Чемодан, думала сестра, был набит по горлышко.

Потом они садились перед чемоданом и, еле шевеля сухими губами, играли в игру «Угадай, что в чемодане». Таким образом, они перебрали более тысячи предметов, которые с некоторой вероятностью могут находиться внутри, но, не имея возможности разгадки, сошли с ума под дождём.

# Интервью у лживого негоцианта

**Действующие лица:**

Интервьюер.
Негоциант.

*Интервьюер*. Что ж, начнём. *(Улыбается.)* Вы негоциант?

*Негоциант*. Нет-нет.

*Интервьюер (смеясь)*. Как «нет-нет»?

*Негоциант*. А вот так вот! *(Поправляет зелёную шляпу.)*

*Интервьюер (удивлённо)*. «Вот так вот-вот так вот!» А как же ваша шляпка? *(Указывает пальцем на шляпу.)* Вон, шляпа! Зелёненькая. Такие у… этих, как их там… этих…

Пауза.

*Негоциант (смеясь)*. У гномов! *(Встаёт.)* А, ага! Подожди, куда это вы клоните? *(Садится.)*

*Интервьюер (помощнику)*. Господь! Ну как их? Гномы, что золото воруют и в горшочках носят! *(Смотрит навыкат.)* У них ещё шляпки зелёные, с окантовкой золотой! Ну! Это ж гномики хотят заграбастать золото.

*Негоциант*. Да что вы себе позволяете?! *(Вскочил.)* Какой я вам гномик?

*Интервьюер (отрывисто, с красными глазами)*. Вы — негоциант?

*Негоциант*. Нет-нет!

Занавес.

# Изнасилование

Две светские подружки общались в коридоре старой квартиры. Напрягающие тона обоев, малиновая сумка, подгнивающие попки огурцов в мусорном пакете. Подруга, наспех надевая пуховик, тряслась от прохлады. Хозяйка квартиры, подруга тоже, стояла, оперевшись одной рукой об стену, и что-то поговаривала больным голосом, то и дело загоняя сопли обратно.

— В этом мире нельзя быть спокойной даже на минуту, — говаривала хозяйка.

От подруги пахло дешёвыми жёлтыми духами. Она начала застёгивать длинные кожаные сапоги.

— Да, — согласилась подруга, — за сына волнуюсь. Ему в школу скоро… — Подруга замолчала; сапожный замок не смыкался. — Боюсь, что травить будут его. Он у меня мальчик слабохарактерный. Я его так воспитала, что даже сдачи дать не сможет.

— Воспитала на свою голову! — буркнула жирненькая хозяйка. — Нет, ребёнку нужен отец. Сейчас дети пошли жестокие; как он будет жить таким мягким? Это ведь и по жизни он таким будет.

— Ну всё! — отрезала она, улыбаясь. — Пошла.

Хозяйка закрыла за подругой двери, перекрестила её.

***

Подруга шла чёрной дорогой. О фонарях не могло идти и речи, кажется. Всё слишком упущено, и всё слишком далеко и надолго, чтобы быть правильным.

Эти дороги плетутся в разные стороны, пытаются перегрызть пищеводы друг друга, но в конечном-то итоге и сплетаются, воссоединяются. Подруга понимала, что ей, сколько ногами не волочи, не найти освещённое место.

Чёртовы собаки молча и спокойно шли наперекор ей, задерживали на ней свой взгляд и исчезали, только она повернётся.

Противный белый запах спермы, фотосинтеза. Листья на цветущей сирени-самозванке решают шелестеть громче обычного. Таким образом подруга накрутила себя до поникшего состояния…

# Экзерциция

Включите свет.

Он осмотрел стороны вокруг себя.

Включите свет! Кх-кх.

Он сделал вид, что покашлял.

Ладно; ладно. Воодушевите меня хотя бы музыкой.

Он провёл резиной по скрипучей сцене, задавая ритм. Носочек отбивал па.

Ха-ха! Повеяло запахом ничтожества.

Он вскинул брови, ожидая.

Вы поняли намёк, что это *вы* издаёте такой запах, и это как бы я *вас* обозвал? Вы хоть что-нибудь понимаете?

Он промолчал.

С кем я вообще разговариваю? Почему нет музыки, почему нет света?

*Почему* нет света и музыки? Ха! Я тебе расскажу; только сойди со сцены и сними свою мерзкую резину.

# Бабий яр

Как-то ночью двое стариков вышли в огород с лопатами в руках. Беспокоились оба — и дед, и баба. Они смотрели на тёмную вспаханную землю, понимая, что должны сделать с нею сейчас. Они посмотрели друг на друга; ничего не увидели; смеркалось.

Дед начал первый, начал молча, и принялся копать землю. Баба крутила лопату за черенок. Она покусывала свою нижнюю губу и смотрела назад, словно боясь чего-то. Это мера предосторожности, не более. Дед выкопал уже небольшую горсть земли. Лезвие лопаты слилось своим мраком с землею. Баба тоже принялась копать. Они делали это в разных местах. Их целью не было вырыть яму, поэтому дед и баба копали неравномерно и сбивчиво: то есть если они не натыкались лопатою на что-то твёрдое спустя три — четыре вскапывания — переходили на другой участок земли. Ясно было и дураку, *что* старики искали…

— Не на мою ж.

Дед буркнул, и его борода поднялась дыбом.

— Ой-йо, что ж-то.

И они копали дальше

***

Огород был вспахан. Лопаты лежали, словно врасплох убитые. Стариков не было на горизонте, ибо они спустились в вырытые ямы. На кой там? Непонятно, для чего они спустились. Дед всё бормотал в яме: «Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять — мы, увы, не знаем». Баба копалась в какой-то яме по соседству и кричала деду, что он идиот, что он проказный и вообще.

Баба вылезла первая и на своём горбу, свернувшись в состояние тупого угла, стащила из ямы какой-то большой позолоченный сундук. Когда сундук с грохотом упал на землю, баба выдохнула, заойкала и замахала короткими руками, а потом скользнула обратно в яму со свистом.

Старик вылезал очень тяжко… стонал, всё просил у бога милования, явно был расстроен. Увидев сундук, дед подполз///к нему.

«Удивительная вещь...»

Старики на долгое время затихли. Дед сидел подле сундука и сторожил его. В белой майке, с худыми, волосатыми ногами. Баба лежала в яме, конечно, без сознания. Она сопела, как при смерти, но оставалась живою.

Солнце вставало, красное как холодильник. Баба истекла кровью в своей яме, она захрипела однажды интенсивно, заворчала имя деда, а потом и обмякла с булькающим звуком. Дед остался на месте. Ему было страшно: грех не признаться.

Когда земля стала различимой над рассветом, дед закопал бабий яр.

Он расставил ноги и, скуля, схватил сундук. Он надорвал спину, зарыдал. Сундук, однако, за пределы огорода вынес.

# Витраж

Объектом вашего внимания становится хлипкий, одинокий молодой человек с горстью пыли в руке. Вы смотрите на него с упрёком; он вам нагадил в суп.

Этот человек пройдёт через большую арку и свернёт на выпуклую талией аллею, смотрите, которая являет собою тропинку. Человек пойдёт в сторону церкви. Там он обнаружит, что витраж не имеет абсолютно никакого рисунка — и его это озлобит. Он подойдёт, смотрите, к священнику и спросит у него настолько злобным голосом, что священник выпустит из рук свечу, оплавленную, смотрите.

Прошу, смотрите внимательно!

Человек, скажем, не узнает, что в витраже он не должен что-либо видеть, но человек не знает, хотя это и не было упомянуто в тексте, я прошу вас смотреть, ибо в дальнейшем, возможно, объяснятся многие недомолвки мои.

Вы видите: священник улыбнётся и ответит человеку, не открывая рот. Смотрите, здесь задействован приём художников; персонаж А откидывает руки в стороны и вокруг него сияет необъятное поле «искр», так скажем; над головой появляется диалоговое окошко, облачко, белая скатерть, на которых священник, всё равно не отвечая, доставляет персонажу Б вразумительный ответ.

Человек сядет на стульчик, предварительно отодвинув его от общего места стояния этих стульев, и сядет на него: перед ним испуганный священник, чьи черты до тех пор будут казаться слегка нарисованными и иллюзорными. Это нормально; смотрите; это главное в данное ситуации.

И не покидайте меня, пожалуйста; нет, я не жалуюсь. Не отходите от меня, ибо мы потеряны, и только вместе сможем найти выход. Вы ведь не хотите потеряться в собственной голове? Поверьте, я там был, и там ужасно мало места!

Право, смотрите! Я чувствую… Ох, бедные мои рецепторы… Чувствую, что вы отдаляетесь!..

Человек заметит это. Он посмотрит на вас. Да, да, в глаза. Я вижу так. А куда может смотреть человек его подобия? — смотрите!

Священник сбросит со стола все вещи. В этот момент он должен будет достать карту и объявить дату кругосветного путешествия, подобному персонажам любимого им Жюля Верна. Интересно получается, когда приключенческий мотив обрывается в лапах такой твари, как он. Священник делает это; упустим подробности, ладно!

Смотрите, диалог:

— Ай! Объясняй! — кричал священник, пытаясь сделать каждое слово ритмичным.

— Ой! чего кричите-то? — улыбнулся человек, поставив ладони на стол, показывая, что он чист. — Потные, правда, да?

Священник кивнёт.

Человек примет радостный вид человека, который с интересом будет что-то рассказывать:

— Приятель, отец мой святой, пастырь, друг мой! помогите мне, дураку! Увидел я витраж на твоей церкви: красиво, спору нет; хотя, по правде, я такой человек, что и спорить не люблю. Ну не моё это, хоть убей! Убей!

Священник закипит:

— Дурак! Дурак! Зачем ты в конце добавил «убей»? Ай! Убавляй! — вскричал он. — Но надобно оно тебе было?

— Отец мой, друг мой родной! — человек взялся за голову. — Что я творю? Бог покинул меня; не вернуть его.

Священник потеряет терпение; смотрите, как поменяется его лицо: смотрите-ка, приглядывайтесь-с!

— Да, — промолвил священник, — дураком тебя назвать — правильное дело. Знаешь, вот завтра у нас хор: я, наверно, устрою тебе показной позор!

Человек аж помутнеет.

— Что ты, батюшка?

— Что я, батюшка? Да что ты!

Человек переведёт дыхание.

— Слушай, старик, остановись! — не стерпел человек. — Давай ты выслушаешь меня, старик! Сколько можно? Сколько ты можешь перебивать меня? Чёртов старик, ты, старикашко!

Священник улыбнётся как конь, оскалив зубы, жёлто-белые, как зимнее небо.

Смотрите не на то, что сравнения обильны и излишни: смотрите на то, что происходит вокруг диалога священника и человека. Вообразите, вообразите же этот тёмный угол, куда не достигает свеча. Я не эмоционален!

— Я думаю, нам стоит вскрыть все карты, священник, — внезапно заговорил человек. — Я тоже слышу это. Этот голос, который зовёт с собою, который постоянно говорит нам «смотреть» куда-то.

— Да, ты прав, человек; как мы завели этот диалог… Заметил ведь? Как глупо мы с тобою разговариваем, словно глупцы. И этот витраж? Правильно, правильно. Да что нам? Я не понимаю, кому это нужно. Кто создаёт нас для этого — ну, смехотворного, как его зовут, вещества… сонм слабых людей.

— Стой, старик! — воскликнул человек; ладошки его ужасно вспотели, — ты вновь подвергаешься бреду! Заметь: твои слова абсолютно обессмыслены. Мы говорили про витраж, верно? В чём мой вопрос? Мой вопрос: почему церковный витраж не имеет рисунка?

— Да, помню, помню этот вопрос, — ответил священник. — А кто же всё-таки это говорил? Считаешь, что… — он сгорбился и затрясся, — демоны?

Человек встанет и отодвинет стул, тот грубо споткнётся и упадёт, с

грохотом разбудив конусообразные стены.

— Твою мать, старик! Твою мать, что за чёрт? — отозвался человек.

— Я слышал вновь, как он поёт — что голоса переплетаются в сновидении — мне снится он — тебе снюсь я — ты снишься девушкам жёлтым — абрикос падает на крышу села.

Священник возьмёт лестницу и поставит её так, чтобы верхушка её попадала на витраж. В зубы он поместит кисточку и краску, неизвестно откуда доставшиеся.

— Приятель, пора заканчивать. Кажется, он тоже взялся за нас. Автора нашей истории жестоко отвергли, его перо забрали.

Священник что-то нарисует на витраже. Он улыбнётся и разобьётся насмерть.

Человек выйдет на улицу.

Станет накрапывать дождь.

# «Т»

Читаешь книгу. Слова остаются внутри тебя. Ничего лишнего не видишь, потому что сосредоточен. Буква за буковкой (ибо сначала заглавные, а затем прописные). И тут ты возвращаешься на несколько слов назад, моргаешь пару раз подряд и замечаешь, что буква «Т» напоминает тебе крест. Ты продолжаешь читать и думаешь: «Надо бы узнать типографию».

Проходит час. Ты заканчиваешь читать эту странную книгу, и тебе неприятно видеть страницы, испещрённые чёрными крестами, даже несмотря на то, что буквы «Т» совершенно нет на ближайшем авторском листе.

Ты надеваешь верхнюю одежду и едешь в типографию. Там ты ничего не узнаешь, и что-то доведёт тебя до состояния меланхолии. Ты вернёшься домой. Так как ты живёшь один, многие переживания, а точнее все переживания, останутся в тебе.

Ты открываешь книгу, которую читал пару часов тому назад, ты думаешь, что начнёшь читать её с новыми силами. Когда ты видишь первые слова, ты выдыхаешь, так как буква «Т» вполне себе буква «Т», не крестовидная и не крестообразная.

Ты вспоминаешь типографию, их слова, их отношение к тебе. В этот момент твои глаза отстранены. Потом ты возвращаешься назад, в реальность, прочитав сотни слов без осмысления. Ты смотрел только что не в книгу, а через книгу. Например, как произнести что-то в пустоту. Ведь когда говоришь в пустоту, то пустота выслушивает тебя, но не отвечает. Конечно, если она пустота.

Итак, вновь ты открываешь книгу и только сейчас замечаешь нелепость: книга в твоих руках. Ты удивляешься, твоё лицо саркастично. Ты увидел сквозь зрительную вуаль видение, как книга, ставшая прозрачною перед тобой, открывается, ты её открываешь. Тебе кажется странным это видение, однако быстро его забываешь.

Ты вспомнишь о нём лишь во время утреннего приготовления кофе. Знаешь, на самом деле, очень много вещей предстоит рассказать тебе для полной картины, но у меня просто падают руки, смотря на тебя.

Твои действия алогичны. Твои глаза видят кресты в букве «Т» и, плюсом ко всему, разделяют буквы на буквы и буковки. Ты задумываешься, *какие* ещё буковки? Ты можешь думать сам, без постороннего вмешательства. Нет, ты не можешь, как бы ни хотел. Я ведь всевластен, пока ты всевластен.

Ты открываешь книгу, открываешь книгу, открываешь книгу.

Открываешь книгу, ты читаешь, ты перечитываешь.

Открываешь книгу. Ты читаешь.

НАВЕЧНО.

# Отец видит в дочери муху

Когда тяжело — взываешь к богу: «Господи», просишь его помиловать твою наземную жизнь, продлить удовольствие, укоротить смертью страдание. Ты знаешь, что пройдёт джаназа, твоя душа вечна.

В табакерке юшка крови волновалась, когда трясся стол. В крови плавал пепел. Чернокожий труп повис на стуле, раскинув руки во все стороны; как-то случилось, что он остекленел, подавил свои чувства переломом. Каким-то там переломом.

Господи, сколько ещё? Давайте так: я убью своего отца. За то, что он видит во мне муху. Да! Представьте себе: в одном бельё, ночью, встаёшь, потом замечаешь голого отца, и на потолке перебегают журчащие тени… Ты крестишься, целуешь крестик на груди, а он греется в твоих руках! Ты кидаешь его. И вот соски набухают, как попкорн, выстреливают. Кровь льётся на север, на запад… на юг, на восток! Страшнейшие позывы к дефекации. Потом становится забавно от понимания, что ты во сне, что у тебя отец — не муха, а офисный работник, одинокий… Вспоминаешь, что он мужчина, а ты — девочка, совсем юная ученица. А он — муха.

Нет! Это я — муха. Он видит во мне муху. Вот почему его взгляд такой мерзкий, вот почему он опасается и бьёт меня.

Сон становится всё кошмарнее. Тени на потолках белеют. Мрак приобретает цвет, чёрный цвет становится естественным. И чёрный цвет — белеет. Комната наполняется внутренней жидкостью мух, подумала я. Я не щипаю себя; не верю, что граница сна способна сломаться под натиском… щипка. Я взываю «Господи». Взываю более десяти раз. Изобилие молитв. Крестик исчез: так часто бывает во снах, подумала я вновь. Да, это сон.

Отец вывернулся наизнанку, чтобы выбить пыль из себя. И его с хрустом прижало к потолку пластом. Я вскрикнула, так, что в банку, а затем заперла крик крышечкой. Отец упал и зажурчал; похожий звук я слышала, когда проснулась впервые. Снова взываю «Господи».

Просыпаюсь. Отцы такие отцы — то мухи, то видят в своих дочерях мух.

Я уже бегу к нему в спальню.

В углу икона.

# В крематории

— Я подумываю над тем, чтобы уволиться. Мне совершенно надоел этот запах горелой плоти.

— Загвоздка в том, что ты не должен его ощущать. Возможно, у этого запаха другой источник.

— Не берём во внимание мои маниакальные предрассудки и увлечения, связанные с оккультистскими жертвоприношениями?

— Нет, не берём.

# Евреи

На городской свалке, среди гор покрышек, стоял излюбленный евреями фонарь.

Однажды я заметил пренеудачнейшую попытку одной неполной еврейской семьи заграбастать богатство. Вот как оно было: летним днём я прогуливался, как обычно, по свалке. Совсем недавно вышел от приятелей, немного поддатый. Сразу мои глаза уловили две фигуры: отца и сына на его плечах. Вот так, думаю, встреча!

Еврей сам по себе был в очках. Сразу нашли неприятные ассоциации (смеясь). Я помедлил, ну, секунд десять. Было нужно правильно сознать происходящее.

Еврей-сын, привилегированный возвышенностью, колупал фонарь. Он застыл, увидев меня, а отец так и вовсе улыбнулся, мол, не обессудь.

# Бигуди

Эти бигуди накручены на её волосы поспешно и неосторожно, волосок за волоском выпячивают из-под коронки смольных, угольных патл. Когда смотришь на неё в темноте — видишь отдельные части лица, первая и третья вертикальные линии завиты, отрезаны тонким ломтиком; вторая линия, являющаяся её бледным лицом, её тонким носом с косточкой, и глазами светлее, чем волосы, — вторая линия обременяющаяся.

Кожа печёночного оттенка. Только, если ночью пойти на кухню и увидеть её за плитой, готовящей что-то неладное на сковородке, увидеть кончающиеся специи и маслянистые, пустые пакетики из-под них, только тогда ты увидишь седеющие корни. Однако она задержит тебя. Конечно, прикоснётся рукой, когда ты будешь разворачиваться; для себя она понимает, что ты никуда не уйдёшь, но притворяется. А ты втягиваешь живот от ужаса. По бокам выпирают рёбра. Сначала кухня тускнеет, потом желтеет, и так цвета смешиваются. Разноцветное солнце поднимется над окном, своими лучами терзая несмазанную кремом кожицу. Её бигуди как ржавые шестерёнки завизжат, рассыпятся, пустят искры и покроются нагаром.

И как-то тебе удастся выйти из кухни, медленным шагом пойти в свою комнату. И ты закроешься там от всех проблем. А эта странная девушка будет накручивать бигуди перед зеркалом, в полном мраке, уделяя внимание деталям и трём вертикальным линиям.

# Аквариум

Этот аквариум полон мутной воды. Смотря в него, сам не отражаешься. Волнообразно искажается пространство, потому как аквариум имеет не ровную прямоугольную форму, а слегка выгнут, выпячивая вперёд. На задней стенке сладкой водой приклеена бутафорная плёнка океана. Кажется, что рыбы не ограничены в своём существовании. В углу работает компрессор. Лиановыми мостами свисает вьетнамка. Чёрная борода угнездилась на водорослях. Стекло аквариума поцарапано в попытке очиститься от зелёного налёта. У скалярии гниёт глаз. Опадают хлопья — это корм для рыбок. Их сыплет в воду маленькая ростом бабушка, стоя на стуле. Почему через шторы не просачивается свет. Люминесцентные лампы освещают всё. Гладкая заправленная кровать в бело-чёрных цветах. Мальки. Гуппи. Огненные петушки. Меня выворачивает наизнанку, моё нутро хочет разорваться по швам и выпустить накопившийся напряг. Но никогда не покинуть пределы мне, как этим рыбкам, я буду вечно смотреть за рябой мерцающей водой в этом аквариуме. Всегда так: начинаешь и не можешь окончить уже никогда. Если так происходит, возможно, так и нужно.

# Как Ницше с плетью к женщине ходил

— Как Ницше с плетью к женщине ходил? О, о. — Малыш присел на скамью побольше, чтоб казаться побольше. — Так оно было:

Вышел Ницше как-то из дома, накручивая густейшие усы… одной рукой. В другой он держал плеть — ибо к женщине направлялся. И ничего не должно было его остановить… ибо дорога пуста, ни одного кучерка не сыщешь… Да ошибался Ницше. Сильно ошибался Фридрих.

Как увидал перед собою кучерка с лошадкой, тоже с плетью, так и осел на ноги. О стену держался. Начал кучерок свирепо лошадь истязать, красные полосы по мясной коже, по шерсти, по меху лошади темнели, точились.

Ницше и бросил плеть.

— Никто не знает, правда — аль нет… — закончил малыш, — но именно этот случай и сделал Ницше сумасшедшим.

# Беременность

— Итак, смотри, какая ситуация развивается: я беременна, восьмой месяц; совсем скоро рожать. В мучениях… — сказала девушка.

— О, девушка, точнее… — запнулся парень, — моя девушка. Э… боже, это так сложно! Жена моя!

Девушка услышала в его голосе недосказанность.

— Ты имеешь в виду, что мне не стоит переживать? Насчёт «мучений»? — спросила девушка.

Парень кивнул.

— Не молчи! — закричала девушка. Её живот вытаращился вперёд, она застонала. — Негодник! Что ж ты, что ж ты!

Парень засуетился; подложил подушку под задницу девушке, дал ей попить холодного, морозного кефира, открыл окно для свежего воздуха. Девушка часто задышала, словно приходя в себя из глубокой комы.

— Ох и бедный он будет! — сказала она надрывно, — ничего ему не разрешу! Ни черта!

Девушка сжалась на своём диване. Парень ожидал, что вот-вот она начнёт бить одутловатыми кулаками по животу. Она впилась в волосы и натягивала их.

Из окна повалил дым. Парень мгновенно запер его. (Кого?!)

— Господи, успокойся! Что на тебя нашло? — сказал парень.

— Просто знай: мой ребёнок будет самым несчастливым существом, которое только родится! А ты будешь самым несчастливым отцом! А я — матерью!

И она разразилась страданиями.

# Муха-Цокотуха

Я разложилась наполовину, приняла серый отсутствующий оттенок. Мне стоило бы привыкнуть к ощущению вороха разных насекомых и опарышей, населяющих меня, но всякий раз я прикусываю язык и молчу. Моя брюшная область раскрыта, её жадно едят. Черви вам такого не рассказали бы. Когда я хочу пошевелиться, мне кажется, что я шевелюсь уже. Когда я хочу сесть на унитаз, мои ноги не сгибаются. Если я хочу выйти на балкон, меня останавливают запах вони и запотевшие от неё же окна. Понимаю, что могу жить, свой рассудок не тревожить ничем плохим, стараться не волновать ставшее море, а белые блики мерцают тогда, когда свет попадает из окна на моё разлагающееся тело, на мокрые остатки пищеварительной системы, почек. Кто-то прокусил мне шею. Я хлопала себя по шее, словно от укуса комара, и мои пальцы проваливалась в два длинных глубоких разреза. Чьи-то клыки вкусно питались мной, видно. Но не имею зла на этого человека. Человек привыкает ко всему.

Я не могла сознать первое время то, что я до сих пор мыслю. Всего одна секунда отделяла меня от света и тьмы. От мгновения и вечности, как любили говорить люди. Любили, потому что раньше, при моей жизни. Я не могу полагать, что сейчас живы все, и так больно от этого. Возможно, мне было бы гораздо приятнее увидеть молодого Бога, войти в открытые им двери. Или стать призраком, блуждающим прозрачным огоньком на мостовых… Всё, мне кажется, будет спокойнее, чем моё существо сейчас, в данную секунду, во время описания. Я не могу подобрать слова.

Я умерла на белоснежной простыни, во сне, на спине. Обо мне никто не знал. Сперва я видела маленьких мух, которые, лениво ползающие по стеклу, замечали уже меня и садились, пользуясь моим бессилием, забирались в прорезь приоткрытых губ. Что они там делали, внутри? Во мне действительно живут семьи, вьющие гнёзда? Мои глаза заплыли подогретой гнилью, но не потеряли способность видеть, правда. Я по-прежнему вижу отличие между добром и злом. Они, глаза, всегда уставлены в потолок: чем-то исписанный, измазанный, чёрный, очень грязный. Мухи покрыли и его тоже. (Не говоря о стенах, белых обоях и ясной видимости насекомых, которые решили застыть на них.)

Не могу похвастаться тем, что видела смерть. Ни о каких скелетах и косах не может быть речи. Я помню только сладкий напор крови, вытекающий из меня, и зарождение чего-то внутри меня. Семя взросло с ужасной скоростью, оно пожало само себя. Участок земли не спрашивают, хочет ли он стать огородом. Я очень любила ковры. Мой пол был покрыт коричневым ворсовым ковром, сейчас являющимся местом обитания ящериц, пауков и тех, кого я не могу назвать созданием природы; не буду говорить о странности их. Их поведение меня

перестало пугать. Только гости, не готовые к ним, очень страшатся, разбрасывая руки и визжа. Да, я могу только лежать и дёргать незакостеневшую мускулу лица, чтобы выдавить полуулыбку, после которой меня покидают. Они боятся, я понимаю. Но не всегда стоит бояться живых, кажущихся мёртвыми. Меня не переубедить в обратном: смерть произошла. Смерть взошла во мне. Внутренние органы порой не отличишь от клубка змей. Сердце твёрдое, не бьющееся, точно не бьющееся — не может оно питать моё тело кровью, крови тоже нет. Прекрасно представляется в голове картина меня, трупа, который гнил и продолжает гнить. Пожалейте меня: мой мозг прокис в черепной коробке, а я всё способна складывать слова в мысли. Бывало, признаю, что и сухой голос доносился из меня в полной тишине, однако скоп мошек и червей сильно приглушает, давит этот звук. Голосовые связки зачахли, если так выражаться, но, чувствую, способны на разговор. А говорить сама с собою, точно сходить с ума?..

Стоит сказать, что мой сон был нагим. Одежда бы оставалась на мне ещё многие, многие годы. Сейчас же я полностью открыта: как мои конечности, так и моё женское начало. Не укрытая тогда, перед смертью, я освещена. Так необычно, когда лучи солнца не режут взгляд; труп — никто иной, труп — только он смотрит на солнце так.

Не знаю, что делать с навязчивым желанием мастурбировать. Так же, как не знаю причину такой кары.

Если Бог есть, он, наверняка, умер ради меня или вселился в меня. Тогда жалкое возбуждение заменяется горючей опухолью, поднимающейся от лобка до пищевода, и рвота, чёрная, бесконтрольно извергается наверх.

# Бабушка

Бабушка готовилась ко сну: взяла белое одеяло за краешек и отодвинула его от стенки. Она закрыла занавески и включила жёлтую лампу; с этой лампой однажды произошла забавная история: котёнок, который вырос у неё во дворе, любил спать под торшером, отчего на потолок падали странные тени. Бабушка, увидевшая в них своего мёртвого сына, горько заплакала. Она села на краешек белого одеяла и закрутилась с ним вместе к стенке. Правда, это было давненько; котёнок тоже давно уж мёртв. А бабушка продолжает жить, чего ей, конечно, не хочется.

*Ноябрь 2024 — февраль 2025 гг.*